

ПЕТР ВЯЗЕМСКИЙ

ФОН-ВИЗИН

Петр Вяземский

Фон-Визин

«Public Domain»

1848

Вяземский П. А.

Фон-Визин / П. А. Вяземский — «Public Domain», 1848

«Представляемая мною в 1848 г., на суд читателей, книга начата лет за двадцать пред сим и окончена в 1830 году. В 1835 году, была она процензирована и готовилась к печати, В продолжение столь долгого времени, многие из глав ее напечатаны были в разных журналах и альманахах: в «Литературной Газете» Барона Дельвига, в «Современнике», в «Утренней Заре», и в других литературных сборниках. Самая рукопись читана была многими литераторами. В разных журналах и книгах встречались о ней отзывы частью благосклонные, частью нет...»

© Вяземский П. А., 1848

© Public Domain, 1848

Содержание

Глава I	7
Глава II	14
Глава III	20
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Петр Вяземский Фон-Визин

Представляемая мною в 1848 г., на суд читателей, книга начата лет за двадцать пред сим и окончена в 1830 году. В 1835 году, была она процензурована и готовилась к печати, В продолжение столь долгого времени, многие из глав ее напечатаны были в разных журналах и альманахах: в «Литературной Газете» Барона Дельвига, в «Современнике», в «Утренней Заре», и в других литературных сборниках. Самая рукопись читана была многими литераторами. В разных журналах и книгах встречались о ней отзывы частью благосклонные, частью нет. Эта метрическая справка, о летах являющегося ныне в свет сочинения, показалась мне неизлишнею, для предупреждения недоразумений, и для правильного заключения об относительном достоинстве и об относительных недостатках предлагаемой книги. Такие метрические и, так сказать, личные указания, равно нужны как в оценке книги, так и в оценке людей. В суждении о тех и других, не должно никогда терять из вида, в какое время книга была написана или человек действовал. Может быть, спросят: почему же книга, имеющая уже столько лет от роду, так поздно является в свет? Объяснение этого вопроса не доставит никаких сведений, которые могли бы иметь какую-нибудь занимательность для читателей. Впрочем, любопытнейших из них отсылаю к статье, напечатанной мною в 3-й книжке «Современника», на 1837 год (стран. 373). Знаю, что объявляя о возрасте книги моей, подвергаю ее предварительному подозрению и осуждению некоторых критиков. Они решили, что книги старого поколения никуда не годятся, и что, в последнее пятнадцатилетие, литература наша так далеко ушла, что все прежнее должно быть предано забвению или равнодушно принято к сведению. Но опасение с этой стороны на меня нисколько не действует. Мне никак не верится, что последний период литературной деятельности Карамзина и Пушкина должен быть признан за младенчество, а нынешний период за период возмужалости и совершеннолетия литературы нашей. Каюсь в неверии своем, и откровенно и смело выставляю год рождения книги моей.

Позволю себе еще несколько дополнить эти сведения биографическими подробностями о самой книге. По первоначальной смете, сочинение мое о Фон-Визине должно было ограничиться пределами статьи, то есть, краткого введения к творениям его. От обстоятельств, статья разрослась в книгу. Cholera, свирепствовавшая в 1830 году, застигла и заперла меня с семейством в подмосковной моей, После первых опасений и беспокойств в виду роковой посетительницы, для развлечения и успокоения своего, я почувствовал потребность в постоянном занятии. Фон-Визин явился мне тогда на помощь и в отраду, Под руками моими была обширная библиотека, много рукописей, записок и писем, относящихся до царствования и эпохи Екатерины Великой; к тому же было много времени и досуга. Открытие каждого нового сведения влекло меня к новым разысканиям. Круг действия моего беспрестанно расширялся под изыскательным пером. Так, например, письма Бибикова и Сальдерна заставили меня перечитать записки Фридриха Великого, и т. д. Старые русские книги и старые русские журналы прочитаны мною были с любопытством и добросовестностию. Все эти запасы отозвались в труде моем, с большею или меньшею пользою, с большим или меньшим успехом, Таким образом, одинокое лицо писателя Фон-Визина вошло в общественную жизнь эпохи, и современная ему эпоха обставила живую рамою написанное мною его изображение. Умел ли я с удовлетворительным искусством и знанием дела исполнить задачу, которую себе выбрал? этот вопрос подлежит разрешению не моему, а моих читателей. Но мне кажется, что, без неприличного самохвальства, мог я себе позволить определить, в вышеписанных строках, точку зрения, с которой, во след некоторым благосклонным ко мне судиям, должно оценить книгу, едва ли не первую у нас попытку, в роде биографической литературы. Особенно обращаю внимание читателей

на приложения. В них моего ничего нет. Следовательно, тем свободнее можно мне указать на занимательность и важность некоторых материалов, в них заключающихся.

*Кн. П. Вяземский.
С.-Петербург,
2-го Февраля 1848 года.*

Глава I

Значение истории литературы вообще. – Двойственный ее характер. – Русская литература: Ломоносов, Державин, Богданович, Карамзин, Дмитриев, Озеров, Крылов, Жуковский, Пушкин. – Имеет ли Русская литература свою оригинальность? Литература наша выражает ли вполне наше общество, его нравственную самобытность. – Под какими условиями литература может иметь влияние на народ. – Одностороннее направление русской литературы, выразившееся в лирической поэзии. – Оригинальное образование нашего общества (победами). – Явление Ломоносова, Петрова, Державина и других, как поэтов народа-победителя. Век Екатерины Великой. – Новое побуждение к продолжению лирического направления нашей поэзии. – Любовь Императрицы к французской литературе. – Влияние французской литературы на русскую. – Посредничество в этом Ив. Ив. Шувалова. – Борис Михайлович Салтыков. – Его литературный агент в Женеве. – Сношение Сумарокова с Вольтером. – Дидерот, Альфиери, Бернарден де-Сен-Пьер и другие литераторы в С.-Петербурге. – Влияние образованности Двора на наше общество. – Общие замечания о Фон-Визине. – Оригинальность его. – Эпоха покровительства талантов Двором и вельможами. – Фон-Визин, действующее лицо на сцене Петербургской, и как писатель драматический и сатирический. – Круг наблюдений Фон-Визина, ограничивающийся единственно обществом провинциальным. – Различие между Фон-Визиным и Молиером. – О жизни и литературных трудах Фон-Визина вообще. – Скудость материалов для его биографии. – Бумаги оставшиеся после него. – Исповедь. – Письма к родственникам и приятелям. – Письма к нему от некоторых замечательных лиц. – Разные бумаги: деловые, политические и семейные

История литературы народа должна быть вместе историею и его общежития. Только в соединении с нею может она иметь для нас нравственное достоинство и поучительную занимательность. Если на литературе, рассматриваемой вами, не отражаются мнения, страсти, оттенки, самые предрассудки современного общества; если общество, предстоящее наблюдению вашему, чуждо господству и влиянию современной литературы, то можете заключить безошибочно, что в эпохе, изучаемой вами, нет литературы истинной, живой, которая не без причины названа выражением общества. Можно еще допустить, что в некотором отношении литература бывает двоякая: одна для народа то, что дар слова для человека: то, чем передает он себя ближним и потомству; то, чем он человек, то есть существо мыслящее и чувствующее. Человек без сего способа выражать себя и народ, не имеющий сей литературы, существа неполные, не достигающие цели бытия своего. Другую литературу можно причислить к искусствам изящным; к ваянию, к живописи, к музыке. Она – в разряде вспомогательных, уже благоприобретенных способностей, коими ум человеческий прихотливо выражает мысль свою, коими народ образующийся честолюбиво знаменует успехи свои на поприще гражданственности и умственного усовершенствования. Посреди безмолвия, оцепенения, царствующего при отсутствии первой из сих литератур, может возвыситься иногда голос автора, который сильно подействует на внимание общества, его окружающего; общество отвечает ему с силою и быстротою потрясенного сочувствия; но сие действие случайно, скоропостижно и недолговременно: не имев предыдущего, оно едва объемлет стесненные пределы настоящего и теряется вместе с минутным впечатлением. Так сладкозвучный Ромберг или молниеносный смычок Паганини зажигают восторг и оковывают внимание слушателей. В раздражении сокровеннейших нервов своих, они сочувствуют, соответствуют гармоническим изливаниям повелительного чародея; но сие сочувствие, сия взаимность в ощущениях, в сотрясениях сокровенных были только насильственные или по крайней мере не естественные, а искусственные. Пора баснословных чудес Орфея миновалась: ни горы не тронутся с места, ни львы, ни люди не преобразуются. Звуки замолкли, раздраженные нервы утихли, и между виртуозом и слушателями

его уже нет никакого нравственного соответствия. Литература также имеет своих виртуозов. Равно и между творением отличным и народом, коего общество еще не готово для литературы или литература еще не созрела для общества, нет также обоюдности глубокой и постоянной. Концерт отслушан, книга прочтена, и тот и другая возбудили несколько изящных ощущений, может быть, несколько благородных соревнований, но тем все и кончилось. Обратимся теперь к нам: поверим наше предположение добросовестно и внимательно и выведем заключение. Некоторые наши явления литературные: великолепные оды Ломоносова; воспламененные философические и сатирические гимны Державина; грациозные шутки Богдановича; утонченности взыскательного общежития, европеизмы, введенные в прозу и стихи наши Карамзиным и Дмитриевым; опыты Озерова, который умел иногда сочетать блеск трагических форм Вольтера с благозвучием поэзии Расина; лукавое простосердечие и черты русской насмешливости и замысловатости, ярко оттенившие произведения Крылова; оригинальность заимствований или завоеваний Жуковского, положившего свою печать на подражания, которые в свое время были смелыми новизнами; в Пушкине тот же дух, те же приемы поэтической притяжательности, еще более приносившие к характеру времени и характеру русского ума и гораздо более разнообразные в своих движениях, – все сии явления, более или менее, продолжительнее или кратковременнее, наносили резкие впечатления на внимание общества нашего и возбуждали повсеместное сочувствие. Со всем тем, кажется, не страшась нареkania в неблагодарности и несправедливости к литературе отечественной, можно применить ее ко второму разряду из двух описанных выше. Так, она не есть жизнь народа нашего, а разве одна из блистательных отраслей общежития его: она не народный дар слова, не народный глагол, а одно изящное выражение народа, как музыка или живопись.

В русском обществе и в литературе русской не было и нет поныне сего обратного действия, сего перелива оттенков с одного на другую, сей жизни, так сказать, общей в двух телах, сей взаимности, от коей литературы других народов являются нам столь исполненными движения, страстей и личности. Нет сомнения, русское общество еще вполне не выразилось литературой. Русский народ сильнее, плечистее, громогласнее своей литературы. В сравнении с ним она несколько тщедушна. Место, занимаемое им в литературном мире, не соответствует тому, коим завладел он в мире политическом. Вы должны искать русских следов в истории двора, в истории походов, в истории успехов гражданственности: блестящие страницы могут здесь удовлетворять требованию честолюбия народного и явить, что сие общество, хотя еще мало говорливое, имеет во многих чертах свою физиогномию, свою нравственную самобытность. Одно книжное знакомство с ним увлекло бы вас к заключению, что нет общества, а есть только народонаселение. Русское общество не воспитано на чтении отечественных книг: вы не можете найти людей, которые чувствовали бы по Державину, мыслили бы по Княжину, коих мнения развились бы и созрели под влиянием таких-то или других русских авторов. Это неоспоримо. Какое может быть на народ влияние литературы, не имеющей эпопеи, театра, романов, философов, публицистов, моралистов, историков? ибо один историк, и то историк давнопрошедших столетий, историк отечества своего, как ни сильно выразил он ум свой в творении своем, как ни верно воскресил он в нем наше прошедшее, но действие его все же должно быть одностороннее и ограничено самыми пределами предначертанного ему круга. Если же захотеть найти непременно господствующую черту нашей литературы, то должно остановиться на поэзии лирической. Сие соображение может привести нас к заключению, что и у нас литература, или то, что из литературы имеем, есть также однозвучное выражение общества. Общество наше, гражданственность наша образовались победами. Не постепенными, не медленными успехами на поприще образованности; не долговременными, постоянными, трудными заслугами в деле человечества и просвещения, – нет: быстро и вооруженною рукою заняли мы почетное место в числе европейских держав. На полях сражений купили мы свою грамоту дворянства. Громы полтавской победы провозгласили наше уже беспорное водворение в семей-

ство европейское. Сии громы, сии торжественные, победные молебствия отозвались в поэзии нашей и дали ей направление. Следующие эпохи, более или менее ознаменованные завоеваниями, войнами блестящими, питали в ней сей дух воинственный, сию торжественность, которая, может быть, в последствии времени была уже более привычка и подражание и потому неудовлетворительна; но на первую пору была она точно истинная, живая и выражала совершенно главный характер нашего политического быта. Воинственная слава была лучшим достоянием русского народа: упоенные, ослепленные ею, радели мы мало о других родах славы. Военное достоинство было почти единою целью, единым упованием и средством для высшего звания народа, которое должно было вначале сосредоточивать в себе исключительно лучи просвещения, медленно разливавшегося по нижним ступеням общества. Военная деятельность удовлетворяла честолюбию народному и потребностям возникающего гражданства. Торжественные оды были плодами сего воинственного вдохновения. Лира Ломоносова была отголоском полтавских пушек. Напряжение лирического восторга сделалось после него и, без сомнения, от него общим характером нашей поэзии. Поэзии философической, прозе умеренной, которая более размышляет, нежели чувствует, более способна хладнокровно судить, нежели пламенно пристраститься, тут не было места. Ломоносов, Петров, Державин были бардами народа, почти всегда стоявшего под ружьем, народа, праздновавшего победы или готовившегося к новым. «Тебя Бога хвалим!» – была тема их воинственных песнопений. Они поэты присяжные, поэты-лауреаты – победы еще более, нежели двора. Сию поэзию, так сказать, официальную должно приписывать не столько характеру их, сколько характеру эпох, в которые они жили. Ничего нет общего в нравственных свойствах, в образовании, в частных обстоятельствах жизни трех наших лириков, но лира их настроена почти на один лад. Кажется, слышишь одни и те же звуки, за исключением особенных переливов и оттенков, которые образуют неминуемую принадлежность каждого самостоятельного дарования. Почему Кантемир, также поэт с великим дарованием, не имел последователей, а лирический наш триумvirат подействовал так сильно на склонности поэтов и второстепенных? Потому, что для сатиры, для исследования, для суда общество не было еще готово. Кровь и умы тогда еще не довольно остыли и оселись. Это была пора молодости, волнения и восторженности. Кто и не имел на лире своей могучих и звучных струн, а туда же карабкался и хотел *пшндарить*. В этом отношении сатира «Чужой толк» не только прекрасное литературное произведение, но и нравственное свидетельство и замечательная обличительная ссылка для пояснения современных обстоятельств.

Лирическое, торжественное, хвалебное направление, данное поэзии нашей, не изменилось совершенно и в новейшие времена, когда другие потребности, другие усилия власти и гражданственности означились в явлениях более миролюбивых, но не менее сильных для честолюбия народа могущественного и повелительного. Торжественность, на которую была настроена лира Ломоносова, отзывается иногда и в лире Жуковского, который из мира созерцания и мечтательности вызываем бывал шумом победы и кликами празднующего народа на торжество действительности; отзывается и в лире самого Пушкина, коего гений своенравный, казалось бы, должен быть столь независим от господства, удручающего других. В эпилоге «Кавказского пленника» вы найдете краски, приемы поэзии, ему исключительно свойственной; но в духе восторга, оживляющего сию воинственную поэзию, вы поддадитесь какому-то обратному влечению, вознесшему столь высоко в свое время поэзию Ломоносова и Державина. Предупреждая всякие превратные истолкования изложенного здесь мнения, спешу заявить, что замечание мое вовсе не есть критическое, или порицательное: я просто хотел опереть свое предположение на свидетельства и должен был для оправдания своего предпочесть хотя изысканное, но яркое другим свидетельствам, более общим, но и менее убедительным.

Царствование Екатерины Великой, или *Великого*, по счастливому выражению принца де-Линь, должно было служить новым и сильным побуждением к направлению поэзии нашей, замеченному выше. Сие царствование громкое, великолепное, восторженное имело в себе

много лирического. Его можно назвать высоким, торжественным гимном в истории отечественной. Все в нем способствовало к возвышению и славолению духа народного. Первенствующие лица, явившиеся на сцене его, были размера исполинского, героического: они рисуются пред глазами нашими озаренные лучами какой-то чудесности, баснословности, напоминающих нам действующие лица гомеровские. Это живые выходцы из «Илиады». Предоставляя истории оценивать каждого по достоинству, нельзя не сознаться, что Орловы, Потемкины, Румянцовы, Суворовы имели в себе что-то поэтическое и лирическое в особенности. Стройные имена их придавали какое-то благозвучие русскому стиху. Нет сомнения, есть поэзия и в собственных именах. Державин это знал и оставил свидетельство тому в одной из строф «Водопада». Поэт зывает к умершему Потемкину:

Потух лавровый твой венок,
Гранена булава упала,
Меч в полножны войти чуть мог,
Екатерина возрыдала!

В стихе, составленном из собственного имени и глагола, есть не одно верноподданническое, но и высокое поэтическое чувство. Этот стих, без сомнения, исключительно русский стих, но вместе с тем он и русская картина. Счастлив поэт, умевший пользоваться средствами, угадывать впечатления и высекать пламень поэзии из сочетания двух слов; но счастливее государь, который умел облечь имя свое красками и очарованием поэзии. Счастлив он, когда имя его, священное в летописях признательной истории, дарит сильные звуки и лире поэтов, которые дорожат истиною только тогда, когда она всемогуща над воображением. Но властолюбие и слава побед не были единими страстями, можно сказать, единими добродетелями Екатерины. В мужественной душе своей она ценила высоко храбрость и воинственный героизм. Однажды в приближенном обществе своем спросила она шутя Сегюра, принца де-Линь и других: «Если б я родилась мужчиною, как думаете вы, до какого военного чина дослужилась бы я?» Легко отгадать ответ: фельдмаршальский чин, достоинство отличного полководца были единые меты, которые поставляли честолюбию могущественной монархини. «Ошибаетесь, – прервала она, – в чине подпоручика нашла бы я смерть в первом сражении». Такой ответ обнаруживает душу; но душа, но ум Екатерины были доступны и другим впечатлениям. Душа ее вмещала в себе все отрасли человеческого славоления; ум ее был отверст для всего возвышенного и способен на все усилия. В числе предметов, занимавших деятельность его, успехи образованности и просвещения были целью ее особенной заботливости. Она не только уважала ум, но любила, не только не чуждалась его, но снисходила к нему, но, так сказать, баловала и щадила неизбежные его уклонения. Самая современная эпоха благоприятствовала сему царственному пристрастию. Франция, униженная в политическом достоинстве своем, сошедшая с повелительной чреды, на которую возвела ее рука, некогда всемогущая, Людовика XIV, старалась развитием умственных способностей вновь захватить на другом поприще утраченное владычество свое. Усилия ее увенчаны были совершенным успехом. Версальский кабинет не имел в себе другого Ришелье, другого Мазарина; политика Европы не получала уже направления своего из Франции: но фернейский кабинет имел своего Ришелье, который с иными средствами едва ли был не могущественнее первого. Вольтер, представитель, орган, душа и глава сего нового рода властолюбия, коего алкала надменная Франция, распространял во имя свое и собратий или учеников своих владычество гения своего и новых мнений на умы Европы, все еще покорной господству Франции. Екатерина с самых молодых лет полюбила французский язык и французскую литературу, которая тогда уже исторгла из ограниченного круга *изящных писем* и мерного великолепия, прославившего ее во дни Людовика XIV. При дворе Елисаветы посвящала она лучшие уединенные часы свои на чтение авторов, раскрывших ум ее, рано созревший

для глубокомысленных соображений философии и политики. Вступив на престол, воцарила она с собою правила, которые почерпнула в учении. Гласным покровительством, всеми оболстительными изъявлениями благоволения, свойственными власти монарха и утонченности женщины, содействовала она торжеству Вольтера и соучастников его во всемирном правлении умов и мнений. По справедливости должно, однако ж, заметить, что и до Екатерины правительство и двор признавали у нас власть просвещения европейского и не пренебрегали союзом с умственными знаменитостями современными. Вольтер уже в царствование Елисаветы был, так сказать, союзником на жалованьи у двора нашего; и если «История Петра Великого», подвиг, совершенный им в силу дипломатико-литературных сделок, не отвечает достоинству ни героя, ни писателя, то должно видеть в нем новое доказательство, что наемный союзник бывает обыкновенно мало надежен для пользы назначенного предприятия. Шувалов – не тот, который в царствование Екатерины писал французские стихи, принимаемые в Париже за произведение французской почвы, – но Шувалов писавший и сам русские стихи, а более известный и достойный известности потому, что он едва ли не первый почувствовал красоту стихов Ломоносова, покровительствовал ему и умел от него выслушивать резкие истины и благородные упреки, Шувалов, вельможа двора Елисаветы и любимец ее, был уже посредником между нами и европейскою литературою. Он имел в Женеве агента, Бориса Михайловича Солтыкова, кажется, им уполномоченного для сношений с Вольтером по предмету истории, им сочиняемой. Письма его к Шувалову – настоящие депеши о том, что делается в Делисах, тогдашнем местопребывании Вольтера. Вообще из переписок того времени, которые удалось нам прочесть, видно, какое постоянное участие принимали вельможи наши в движениях современной литературной деятельности. Новые понятия, смело провозглашаемые во Франции, имели тогда отголоски в Петербурге. Мы нашли в записках, оставленных княгиней Дашковой, что до 15-летнего возраста прочла она в доме дяди своего, графа Воронцова, сочинения Беля, Вольтера, Монтескье, Гельвеция: правда, прибавляет она, что, кроме Екатерины, тогда еще великой княгини и также в летах весьма молодых, и ее, никто из женщин в Петербурге не занимался подобным чтением. Легко поверить тому и едва ли можно жалеть о том. Подобное чтение, нельзя не сознаться, было несколько преждевременно, и просвещение, за ним следовавшее, должно было походить на то, в котором вообще обвиняют нас некоторые иностранцы: насильственно-прививное, скороспелое и потому ненадежное. Но между тем сие свидетельство в числе прочих доказывает, что отражение лучей, бросаемых Францией, было не чуждо и вершинам нашего общества.

Замечательно, что сношения, завязавшиеся между Россией и представителями европейского просвещения, не были начаты и продолжаемы равными с обеих сторон договаривающимися лицами: с одной видим литераторов, с другой двор и вельмож. Представители нашей литературы не были участниками в деле, которое, казалось, могло быть ближе к ним, нежели к тем, которые действовали. Литература и литераторы наши оставались в стороне. Один деятельный Сумароков умел как-то выманить письма Вольтера и заставить его заочно и на слово похвалить его трагедии. Даже в то время, когда один из полномочных посланников энциклопедического двора, Дидерот, приезжал в Россию, не последовало никакого сближения между им и нашими авторами. По крайней мере не отыскиваем ни одного следа тому ни в сочинениях Дидерота, ни в сочинениях соотечественников наших. То же можно заметить и относительно к пребываниям Альфиери, Бернарден де Сен-Пьера и других известных писателей, посещавших Россию в то время. Все это подтверждает доказательство, что между литературою нашею и нашим обществом не было ничего взаимного; что на нее не действовали обыкновенные приливы и отливы общежития; что, подобно Русскому или Азовскому морю, чуждому движения, общего другим морям, и литература русская, не подверженная повсеместному закону, пребывает до времени в тишине бездействия, стихиею отдельною и неподвижною; что если могли мы заметить, как указали выше, некоторое действие, сотрясение, некоторое преходчивое впечатление, произведенное обществом или почти исключительно двором в явлениях литературы

нашей или, вернее сказать, поэзии, то в самом обществе не найдем мы признаков, что литература отечественная входит в состав гражданского быта нашего, в число богатств нашего нравственного достояния. Изыскать и означить причины явления сего вовлечет в исследование слишком глубокое и многостороннее. Довольно указать на иные, которые более других на виду и едва ли не богаче в последствиях. Недостаток в основательном учении, недостаток в звании, которое по месту своему в чиновном гражданском могло бы исключительно посвящать себя трудам ума и видело бы в них единую цель, доступную честолюбию, свойственному всем званиям; обязанность дворянства, более или менее, но вообще грамотного, служить и алчная нетерпеливость достигнуть офицерского чина в лета, когда еще не стыдно быть слушателем университетских лекций, – вот, без сомнения, одни из главных причин застоя нашего в движениях мысли и творческой деятельности. От сих причин, несмотря на исполинское движение, данное России Петром, поощренное Екатериною и покровительствуемое преемниками их, нет у нас донныне литературы истинной, полной, коренной, литературы, которая была бы живою отраслью государственного благоденствия и непосредственным существованием людей, служащих отечеству трудами ума своего, как воин служит ему на поле брани, судия в храминах закона, торговец на поприще промышленности.

Сии соображения, сии применения наблюдений общих к положению частному, в котором находимся, родились в уме моем при мысли обозреть жизнь и труды Фон-Визина. Готовясь к сему начертанию, я хотел вникнуть в свой предмет, обойти его со всех сторон и коснуться до пределов, ему соприкосновенных. Не боюсь протяжения и плодовитости, может быть, оттого что не умею быть кратким. Любя видеть в литературе не одну науку слов, но и науку жизни, не науку, действующую в обведенном очерке и одиноко служащую себе средством и целью, но науку всеобъемлющую и вездесущую, помня, что если, по выражению Бюффона, в слоге весь человек (*le style c'est l'homme*), то в литературе весь народ, я должен был решительно приступить к исследованию подлежащего вопроса, не стесняясь схоластическими формами и этикетом академического благочиния.

Вот, так сказать, оглавление соображений, которые должны были служить мне руководствами в моих изысканиях и в согласовании оных.

Фон-Визин один из малого числа писателей наших, которые выразили себя в сочинениях своих; сочинений его немного, это правда, но он умел быть оригинальным посреди подражателей. Главные творения его имели много успеха в свое время; они носят на себе отпечаток ума и эпохи его, не утратили и ныне ходячей цены и сохранились в народном обращении.

Фон-Визин жил в царствование Екатерины. Она любила ум не только за границею, но и у себя дома, покровительствуя ему в чужих землях, благодетельствовала ему в отечестве. Примеры покровительства, оказываемого царями дарованиям и отличиям природным, нередки: в самой власти, потому что она есть держава и могущество, есть и должно быть обыкновенно тайное начало великодушия, возвышенное сочувствие, которые понимают всякую возвышенность и готовы сблизиться с нею; но двор Екатерины представляет нам еще одну черту, особенно ему свойственную. Многие из вельмож, любимцев власти, разделяли с Екатериною благоволение ее к людям, которые соперничествовали им на поприще вовсе отдельном и противопоставляли аристократии породы и чинов отступную, непокорную аристократию ума и дарований. За границею ездили они на поклон к фернейскому отшельнику, отшельнику нового рода, который имел свой двор и своих ласкателей, предупреждали учтивостями и ласками всех чужестранных баловней литературной молвы и в своем отечестве не чуждались общества, а, напротив, искали приязни людей, заслуживших известность умом и несколькими остроумными страницами или счастливыми стихами.

Фон-Визин был современником эпохи благоприятной, был действующим лицом на сцене петербургской, в сей сфере деятельности русской, в сем средоточии русской гражданственно-

сти; он был преимущественно писатель драматический и сатирический, следовательно, живописец и поучитель нравов.

Обозревая сии указательные черты, я говорил себе, что из биографического портрета Фон-Визина может выйти историческая картина общества; но после многих исследований и применений не нашел ни связи, ни полноты в предмете своем, раскрытом на все стороны. В обществе не дознался я отголоска Фон-Визина и в самом Фон-Визине отыскал мало отпечатков общества. Например, комедии его – не картина нравов, господствовавших в обществе ему предстоящем; он жил в столице, а описывал провинцию; изображенные им лица верны и подсмотрены с природы, но сходство их было почти отвлеченное, без живого применения к лицам, пред коими они были выведены. Комедии Фон-Визина были читаны и играны в Петербурге и в Москве; театров по губернским городам, домашних театров тогда если и было, то весьма немного, – следовательно, настоящие Простаковы в глуши губерний и деревень, вероятно, и не знали, что двор смеется над ними, глядя на их изображения. Вероятно, были *недоросли* и *бригадиры* и в числе зрителей комических картин Фон-Визина; но комик колол не их глаза. Смех их был оттого свободнее, но менее было и пользы. Следовательно, и здесь автор и публика его не были в борьбе лицом к лицу и рука с рукою. Это не то что Мольер, который списывал с натуры знакомых тартюфов, маркизов, жеманок и призывал оригиналов своих на очную ставку с уличительными портретами. Но довольно: к комедиям Фон-Визина обратимся в свое время.

После продолжительного введения пора приступить к самому предмету, подлежащему рассмотрению нашему: жизни и литературным трудам Фон-Визина. И здесь придется нам сетовать о скудости способов и средств применять жизнь действительную к явлениям жизни умственной. Биографические материалы у нас так недостаточны, что, при неимении принадлежностей и красок для написания исторической картины, едва ли можем написать и портрет во весь рост. Наша народная память незаботлива и неблагодарна. Поглощаясь суетами и сплетнями нынешнего дня, она не имеет в себе места для преданий вчерашнего.

Лишенные чужих вспомогательных источников, мы можем, по крайней мере, черпать в источнике, оставленном нам самим Фон-Визиным. Он несколько облегчил труд биографа своего. Сверх сочинений, в которых, как заметили мы выше, выразил он ум свой и образ мыслей в чертах довольно оригинальных, имеем в виду еще и другие пособия: часть *Исповеди* его, письма в родственникам и приятелям, письма к нему от некоторых замечательных лиц, равные бумаги деловые, политические и совершенно домашние, которые не менее других любопытны в своем роде и носят на себе живые следы обычаев его и частной жизни.

Глава II

Генеалогия Фон-Визиных. – Барон Петр Владимиров Фон-Визин. – Денис Фон-Визин. – Грамота Царя, Великого князя Михаила Феодоровича, пожалованная Денису Фон-Визину. – Иван Андреевич Фон-Визин (отец автора). – Павел Иванович (брат его). – Сестра Фон-Визина, вышедшая за Аргамакова, и ее сын. – Нравственность родителей Фон-Визина. – Рождение его. – Детство. – Влияние старинного образа воспитания на способ выражаться, а, следовательно и на слог Фон-Визина. – Славянизмы и галлицизмы – главный недостаток его слога. – Хорошая сторона прежнего домашнего воспитания. – Мнение Карамзина о народности. – Фон-Визин в Московском Университете. – Иван Иванович Мелиссино отправляет Фон-Визина с братом, в числе 10 лучших воспитанников, для представления куратору Университета Ивану Ивановичу Шувалову, в С.-Петербург. – Потемкин. – Встреча с Ломоносовым в доме Шувалова. – Впечатления Двора и театра на ум Фон-Визина. – Первый литературный труд его, перевод басен *Гольберга*. – Награда за него, состоявшая в платеже соблазнительными книгами. – Второй перевод его: *Жизнь Сифа, Царя Египетского*. – Замечания о содержании этого сочинения и переводе. – *Превращения Овидиевы*. – Поэтические произведения Фон-Визина: *Послание к слугам моим* и басня *Лисица Кознодей*. – Отсутствие в Фон-Визине поэтического таланта. – Перевод *Ельзиры*. – Сатирическое послание А. С. Хвостова. – Конец первого периода жизни Фон-Визина. – Взгляд на тогдашнее время.

Изыскания родословные не нужны в биографии литератора: дарование не майорат. Но здесь любопытство возбуждается генеалогическою странностью. Почетная частица *фон* кажется столь неуместною пред именем творца *Недоросля* и *Послания к Шумиллову*, что заслуживает она некоторого пояснения. Род Фон-Визиных, или, по-прежнему правописанию, фан-Фисиных, как видно из законных документов, происходит от знаменитых предков, бывших в разных землях владетелями городов. В царствование Иоанна Васильевича, во время войны против Ливонии, взят был в плен рыцарь братства меченосцев, Петр барон Володимиров сын Фон-Визин, с сыном его Денисом. В царствование царя Алексея Михайловича внук его принял Греко-Российское исповедание, по крещении назван Афанасием и пожалован в стольники. Грамотою царя и великого князя Михаила Феодоровича род Фон-Визиных причисляется к родам, возвышающим достоинство свое историческими воспоминаниями. В ней сказано, что во время осады Москвы Владиславом, Денис Фон-Визин, «помня Бога и Пречистую Богородицу, и православную христианскую веру в наше крестное целование, с нами, великим государем, в осаде сидел, и за православную христианскую веру, и за святые Божия церкви, и за нас, великого государя, царя и великого князя Михаила Феодоровича всея России, на Москве против королевича Владислава и Польских и Литовских, и Немецких людей и Черкас стоял крепко и мужественно, и на боех и на приступех бился, не щадя головы своей, и ни на какие королевичевы прелести не прельстился, и многую свою службу и правду к нам и ко всему Московскому государству показал, и будучи в осаде, во всем оскудение и нужду терпел». Следовательно, потомок и соименник его – русский не одним пером своим.

Отец автора нашего, Иван Андреевич Фон-Визин, служил в Ревизион-коллегии членом в чине коллежского советника; уволен был статским советником; жил в Москве, в собственном доме близ Московского университета. Но в этом ли доме родился творец *Недоросля*, о том мы узнать не могли. Для дополнения скажем, что в летописях литературы нашей известно имя и другого сына его, Павла Ивановича, оставившего по себе некоторые стихотворения и переводы, напечатанные в ежемесячном сочинении *Доброе намерение*, изданном в Москве 1764 года. Одна из сестер автора нашего, по замужеству своему Аргамакова, упражнялась также в литературных занятиях в перевела несколько повестей Мармонтеля. Сын ее, бывший после Преображенского полка полковником, товарищ и друг Марина, был также поэтом в кругу одно-

полчан и приятелей. Фон-Визин сохранил нам в *Исповеди* своей прекрасные воспоминания о нравственности родителей своих, и в особенности об отце, коего характер являет черты редкой твердости и великодушия. Замечательно, что в старину, при недостатке знания в иностранных языках, люди, одаренные умом любопытствующим, мог ли почерпнуть некоторую образованность в современных русских переводах, которые тогда были гораздо разнообразнее и удовлетворительнее, нежели в наше время. Ныне, без помощи иностранного языка, почти читать у нас нечего: переводчиков нет, или труды их обращены на книги, или, лучше сказать, заглавия книг в чести у книгопродавцев, которые часто не питают, а отравляют вкус читающей публики; исключения редки. Поверьте, например, итоги переводов, вышедших от семидесятых годов до нашего столетия, с итогами нашего тридцатилетия, и вы убедитесь, что наша литература переводная упала против прежнего. Тогда все, или почти все, замечательные творения древности и совершенной эпохи имели у нас переводчиков; ныне знаменитейшие писатели нашего времени знакомы нам по одним журнальным переключкам. При тогдашних пособиях и не удивительно, что отец Фон-Визина, хотя и лишенный выгод образованного воспитания, любил чтение исторических и нравоучительных сочинений и мог удовлетворять свои наклонности. Старые книги наши уже не в ходу: с одной стороны, их нет в обращении книжной торговли, с другой, обветшалый язык их, тяжелый слог пугают новых читателей: таким образом провинциалы губернские и столичные, требующие пищи умственной, должны довольствоваться мало-сочною и скороспелую пищею журналов и альманахов.

Год рождения автора нашего не был донныне достоверно определен. В *Исповеди* не означает он эпохи рождения своего, и в *Опыте исторического словаря о Российских писателях*, изданном Новиковым, при жизни Фон-Визина о том умолчено. По биографическим сведениям о нем, собранным преосвященным Евгением в журнале *Друг просвещения* и в *Опыте краткой истории русской литературы*, Греча, показано, что он родился 1745 года; но по другим указаниям и соображениям можно предполагать утвердительнее, что он родился в 1744 году. Автор ваш, говоря о детстве своем, показывает, что оно было означено резкими чертами характера пылкого и решительного. Авторские склонности обнаружались в малолетстве его раннею чувствительностию, раздражительным воображением и жадностью, с которою вслушивался он в рассказы, пробуждавшие его ребяческое внимание. Тогдашнее воспитание, при недостатках своих, имело и свойственные ему выгоды: ребенок оставался доле на русских руках, доле окружен был русскою атмосферою, в которой знакомился ранее и более их языком и обычаями русскими. Европейское воспитание, которое уже в возмужалом возрасте довершало воспитание домашнее, исправляло предрассудки, просвещало ум, не искореняло впечатлений первоначальных, которые были преимущественно отечественные. Укажем на одно свидетельство: большая часть переписки государственных людей царствования Екатерины велась на русском языке, не смотря на господство языка французского и нравов иноплеменных. После видим мы совершенно противное: первые звуки, первые понятия, кои передавали детству другого поколения, были исключительно иностранные, потому что ребенок с груди кормилицы русской обыкновенно вверяем был рукам чужеземцев. Уже только позднее в годах юношества, а часто и в возрасте, уже перезрелом для исправления погрешностей вкоренившихся, русский гражданин, по собственному обратному влечению и как будто по уязвлению пробудившейся совести, обращался к изучению отечественного. Более домоседства в жизни родителей, более приверженности к исправлению частных обязанностей и соблюдению обрядов русского православия, может быть, менее суетности, но в семейственном кругу более живого участия в делах общественных, и между тем более независимости в нравах, способствовали тогда к некоторому практическому гражданскому воспитанию: оно имело свои недостатки и весьма важные; но, как замечено выше, имело в себе что-то положительное, действовавшее в народном смысле. Ныне воспитание наше слишком отвлечено и, пущенное в рост, ни на чем не упирается в коренном основании. Например, мы видим, что старик отец Фон-Визин заставлял сына

читать у крестов во время всенощных бдений, которые часто отправлялись у них дома; позднее детей другого поколения заставляли прежде всего вытвердить наизусть

La cigale ayant chanté
Tout Pété.....

Не соглашаюсь с автором, который приписывает упомянутым благочестивым упражнениям знание свое в русском языке. Дьячки и семинаристы, которые верно более его читали священные книги, не почитаются же у нас знатоками в языке и правильнейшими грамотеями. Помощь Славянского языка, вопреки мнению его собственному и мнению многих литераторов наших, была не только не полезна, но может быть и вредна Фон-Визину: он без размышления пользовался ею и не умел справиться в согласовании языка церковного с языком общества, когда покушался на такое сочетание. Слог Фон-Визина – слог мыслящего писателя; но неуместная пестрота галлицизмов и славянизмов, встречающаяся в творениях его, не позволяет изучать его в отношении искусства, как писателя образцового. К тому же, если слова и обороты Славянские и могли бы иногда пригодиться ему в переводе творений, подобных *Иосифу* и «Похвальному слову Марку Аврелию», то мог ли он употреблять их с успехом в языке комедий, сатирических и философических статей, и в слоге письменном, в которых преимущественно выразились жизнь и сила дарования его? Не менее того я готов признать, что самые сии упражнения имели без сомнения влияние и на развитие способностей будущего писателя, но не в художественном, а более в нравственном образовании. Я не исключительный поклонник старины; не ослепляюсь предрассудками, которые силятся удерживать поколения неподвижно, как часовых, поочередно сменяющихся на одном и том же месте; не разделяю безусловно страха людей, которые пугаются смелыми движениями времени и просвещения; но притом жалею, что новое воспитание, многосложив обязанности и требования юношества, не умело теснее согласовать необходимые условия русского происхождения с независимостью Европейского космополитства. Карамзин, защищая Петра Великого от обвинений, что он лишил нас русской нравственной физиономии (а, впрочем, и физической, обрив нам бороды), говорит; «Все народное, ничто пред человеческим. Главное дело быть людьми, а не Славянами». Истина возвышенная и прекрасное правило политической мудрости, которое можно пополнить и пояснить тем, что должно быть прежде или более гражданином, нежели семьянином. Но в применении к воспитанию частному, т. е. личному, а не народному, не должно терять из виду, что именно для того, чтобы быть европейцем, должно начать быть Русским. Россия, подобно другим государствам, соучастница в общем деле европейском и, следовательно, должна в сынах своих иметь полномочных представителей за себя. Русский, перерожденный во француза, француз в англичанина, и так далее, останутся всегда сиротами на родине и не усыновленными чужбиною.

При самом основании Московского университета, Фон-Визин поступил в число воспитанников его. Университет с гордостью может выставить имя сие в начале летописей своих и прав на благодарность отечества. С другой стороны, может он и сослаться на него, как на свидетельство счастья. В самом деле, то, что автор рассказывает сам о нравственном и учебном состоянии сего заведения, хотя очень забавно, но мало назидательно. И если вспомнить, что он получил в награждение медаль на экзамене за то, что на вопрос: куда впадает Волга? отвечал он «не знаю», когда из товарищей его один назвал Белое, а другой Черное море, то легко убедиться, что дарования Фон-Визина образовались не только независимо от университета, но, может быть, и вопреки ему. В одной из программ диспутов и рассуждений, назначенных для университетского собрания, находим следующее: «Денис фон-Визин стараться будет показать щедрость и прозорливость Ее Императорского Величества, всещедрой Муз Основательницы

в Покровительницы». И в других свидетельствах университетских встречается после неоднократно имя его, упомянутое с похвалою. Наконец, позднее видим, что природные способности воспитанника были столь блестящи, или директор московского университета, Иван Иванович Мелиссино, был одарен такою прозорливостью, что когда должно было представить в Петербург выставку нового заведения на показ их куратору (и кто же был сей куратор? Иван Иванович Шувалов!), то Фон-Визин и брат его были в числе десяти избранных воспитанников. Между ними встречаем и другое имя, которое некогда должно было заимствовать столько блеска в громкой звучности от прилагательного «Таврический». В числе разительнейших впечатлений, пробудивших внимание 14-летнего отрока в приезд его в Петербург, была встреча у Шувалова и знакомство с человеком, который мог бы один служить выражением русской образованности, столь же внезапной, как и он, с человеком, неприготовленным событиями и ознаменовавшимся в ученом мире явлением столь же самовластным, как и Петр Великий в мире государственном, – с Ломоносовым! Блеск и великолепие двора, коему представлены были воспитанники, и новость театральные зрелищ оставили также живые следы в чутком и наблюдательном уме его. Может быть, встрече с Ломоносовым и смеху, порожденному игрою актера Шумского, обязаны мы наиболее, что в Фон-Визине имеем писателя, а от него хорошие комедии. Дарования не врождаются, но часто развертываются случаем. Посещениям театра обязан он был и оскорблением самолюбия, обратившимся в пользу его. Молодой барич, столкнувшийся с ним в партере, начал, после ласковых приветствий, трунить над ним, узнав, что он не говорит по-французски. По возвращении своем в Москву, Фон-Визин обратился с прилежанием к изучению языка сего и, вероятно, ревностнее принялся и за другие науки. Между тем, если Фон-Визин не был еще тогда писателем, то по крайней мере был уже работником на книгопродавцев. В 1761 году уже напечатан перевод его басней Гольберга, и для тогдашнего времени язык перевода замечательно чист и свободен. Сей первый труд оставил по себе пагубные следы в жизни его. Книгопродавец, заказавший эту работу, дал ему на все на пятьдесят рублей книг соблазнительных, которые распалили молодое воображение. По самому признанию Фон-Визина, сии первые впечатления отозвались на всю жизнь в здоровья его и, может быть, приготовили преждевременный и болезненный ее конец. Сие самое соглашается и с изустными преданиями, которые, если они достоверны, поясняют слова *Исповеди*. За первым переводом следовал скоро и другой: *Жизнь Сиды, царя Египетского*. Подлинник написан на французском языке аббатом Терассоном; но Фон-Визин перевел его с немецкого перевода. Сей нравственный, или классическо-нравоучительный роман (называемый в подлиннике *Séthos*), написан, вероятно, в подражание *Телемаку* и пользовался в свое время уважением. В особенности славилась в сем сочинении речь главного Мемфисского жреца, произнесенная при погребении царицы, матери Сифовой. В сей речи, под видом похвалы усопшей, ясно изложены правила чистой политической нравственности. По словам Даламберга, Шатон присоветовал бы их читать в назидание царям; он же говорит, что Тацит восхитился бы сею речью. Французские философы того века любили, как смелые новизны, истины, впрочем весьма почтенные, но которые ныне показались бы или излишне напряженными, или слишком обыкновенными. К подтверждению сего довольно упомянуть о всеобщем успехе *Велизария*. Мы не можем в наше время присвоить себе задним числом благоприятных предубеждений другого века; но все и в наш было бы неблагоприятно судить с неуместною строгостью творения, которые первые распространили владычество практической философии и терпимости от чертогов царей до нижних степеней общества. Нельзя не заметить, что сей род нравоучительных романов, довольно скучных (не на зло нравственности будь сказано), был особенно во вкусе читателей наших протекшего столетия. Сверх переводов, имеем мы и в оригинальных творениях той эпохи свидетельства сей нравственной склонности умов наших. Укажем на *Арфаксада*, *Кадма* и *Гармонию*, *Полидора*. И в некоторых позднейших явлениях нашей словесности найдем, может быть, следы сего поучительного направления. Читатели наши не боятся скуки, и многие из русских авторов

пользуются сею народною безбоязненностию. Комики, повествователи наши, мало заботятся о занимательности, разнообразия и живой веселости творений своих: быть нравоучительными достаточно для их назидательного смиренномудрия. Можно бы заметить, что автор, который, по заглавию своего романа, обязывается быть сатирическим и нравоучительным, уже самым обязательством своим охлаждает любопытство читателя; он похож на говоруна, который, начиная рассказ, говорит: «Я вам расскажу уморительный анекдот», в сам хохочет в задаток, так что предисловием в предварительным хохотом обдаёт он холодом и онемением своих слушателей. Можно бы заметить, что ничего нет менее комического *комического романа*, писанного Скарроном, и менее исторического – *исторических романов* г-жи Жанлис; но объяснения сих замечаний завлекли бы нас в рассуждения, посторонние предмету вашему. Мы хотели единственно, вследствие принятого нам правила, оглядываться кругом, следуя по дороге, нам предлежащей, и указать мимоходом на отличительные приметы литературы нашей. Русский перевод *Сифа* пользовался при самом появлении своем честью, которой удостоились немногие русские книги и в наше время. В периодическом издании, под названием *Собрание лучших сочинений* и проч., коего редактором в 1762 году был профессор Рейхель, есть весьма замечательное известие о сем переводе. Не в укор журналистам новейшим будь сказано, мало найдется у них критических статей, столь европейских по изложению, мыслям и общим сведениям. В сем известии, между похвальными отзывами о способностях и заслугах молодого переводчика, упоминается и о переведенных им *Превращениях Овидиевых*. Нет следов к проверке, что сделалось с сим переводом; но Рейхель должен был знать о нем достоверно: ибо Фон-Визин был одним из деятельных участников в сем периодическом издании, содержащем несколько переводов его.

К этому же времени относятся первое покушение его на поприще поэзии. Он не был рожден поэтом, ни даже искусным стихотворцем, хотя и оставил несколько хороших сатирических стихов в *Послании к слугам* и к басне *Лисица-кознодей*. В одном письме к Елагину он сам говорит: «Пишу стихи, которые стоят мне не только неизреченного труда, но и головной болезни, так что лекарь мой предписал мне в диете отнюдь не пить Английского пива и не писать стихов». Перевод его *Альзири* должен быть признан более за упражнение ученическое в стихотворстве и французском языке, нежели за произведение поэтическое. Переводчик говорит и сам в *Исповеди* своей: «Сей перевод есть не что иное, как грех юности моей; но со всем тем встречаются и в нем хорошие стихи». Признаемся, должно иметь родительское сочувствие для подобной встречи. Нам со стороны не удалось встретить ни одного хорошего стиха. Насмешники старого века, и между ними А. С. Хвостов, смеялись над неудачею перевода. Вот некоторые стихи из сатирического послания его к Фон-Визину:

Не ты ль у старика Вольтера отнял честь,
Как удалось тебе Альзиру перевесть?
Что муза у тебя душою покривила,
Напав в иных местах на смысл Вольтеров с тыла;
Что с мыслью автора разъехался в других,
И что меж прочими в трагедии есть стих,
Которого она совсем не разумела,
Не ты в том виноват; чего она смотрела,
Нельзя, чтоб ты меча с песком не распознал,
Ни столько мудрыми очами захворал.

Сие послание, отличающееся более личностями, нежели язвительным остроумием, может служить доказательством, что авторские перебранки и у нас не со вчерашнего дня. Наши новейшие ратоборцы имеют также свои рыцарские предания, пергаменты и родословные. Впрочем, заметить должно, что упомянутое послание не было в свое время напечатано.

Кажется, здесь кончается первый период жизни Фон-Визина, период подготовительных лет пред вступлением на сцену действия общежития и в литературе. Сии годы искусства не совсем бесцветны. В младенчестве общежития нашего и люди начинали жить ранее. Общество дорожило всеми признаками расцветающих надежд. Мы видели, что автор наш, почти еще ребенок, обращал на себя внимание, выставлен был на показ заботливым начальством, отыскан книгопродавцами и, одним словом, был уже на виду в лета, в кои ныне было бы трудно отделиться от толпы сверстников. Правда, что ныне и требования взыскательнее; но со всем тем, вероятно, и старейшины тогдашнего общества были внимательнее к новым поступающим членам. О многих доказательствах, оправдывающих мое предположение,

Молчу:
Два века ссорить не хочу.

Но по крайней мере, чтоб не поссориться с своим веком, ограждаюсь следующим объяснением. В старину менее могли надеяться на силу событий, на силу нравственную, еще не обдержанную, еще мало утвердившуюся: тяжба просвещения и образованности тогда не была еще решена временем; нужны были единомышленники, и каждое лицо надежное было на примете, завербовано и задобрено отличиями. Тогда просвещение образовало раскол, а в каждом расколе обнаруживаются жар, пристрастие, деятельность. Ныне просвещение – господствующая вера в нравственном мире, и потому оно спокойнее. Эпохи, подобные прежней, благоприятны для личного честолюбия. По крайней мере мы видим, что автор ваш вышел в люди сам собою: кажется, ни родственные связи, ни счастливые случайности не проложили ему попутных следов.

Глава III

Вступление Фон-Визина, в 1762 году, в службу. – Вице-Канцлер К. Голицын определяет его в Иностранную коллегию. – Первое время службы. – Отправка его в *Шверин*. – Расположение к нему кабинет министра Ив. П. *Елагина*. – Замечание об Елагине. – Роман: *Приключение Маркиза Г.* – Порошин. – Вражда с Лукиным. – Тогдашнее вольнодумство. – Москва и Петербург. – Дружба с Тепловым. – Замечание о Теплове. – Непокколебимость в вере. – Перевод сочинения *Самуила Кларка* «Доказательство бытия Божия». – Взгляд на роль Кутейкина (в комедии Недоросль), как вывеску тогдашней эпохи. – Раскаianie Фон-Визина. – Некоторые известия о послании к слугам моим. – Об успехе комедии: *Бригадир*. – Фон-Визин читает свою комедию Императрице. – Конец записок его «Исповеди». – Недостаток материалов для дальнейшего продолжения его биографии

В 1762 году находим Фон-Визина в службе, а по приезде Двора в Москву уже известным вице-канцлеру князю Голицыну, который перевел его в Иностранную Коллегию. Тут удостоен он был внимания канцлера, поручавшего ему перевод важнейших бумаг. Другое поручение, лестное для самолюбия в приятное для любопытства молодого человека, было наградою за труды по службе, замеченные начальством, он в том же году послан был в Шверинскому двору в возвратился со свидетельствами уважения, заслуженного им в поездке своей. На другой год сблизился по службе, а потом и по приязни, с Иваном Перфильевичем Елагиным, бывшим тогда кабинет-министром в пользовавшимся в свое время славою умного человека и отличного писателя. Ныне слава его в последнем отношении значительно убавилась. Наше поколение знает его более понаслышке, а роман, им переведенный, *Приключение Маркиза Г.*, по забавной шутке Крылова в комедии *Урок дочкам*. Что ж касается до сего перевода, то, по некоторым преданиям, подкрепленным очевидным различием в слоге романа и например *Опыта повествования о России*, и разностью в слоге самого перевода, кажется, что перевод сей, выданный под его именем, одолжен бытием первых четырех томов Порошину, находившемуся при Великом Князе Павле Петровиче, а последнего Лукину, который был секретарем кабинет-министра. Теперь лучшею похвалою Елагину остается мнение, которое Фон-Визин изложил о нем в *Исповеди*. Мы не подтвердим за ним, что он прославился своим витийством на русском языке; но будем помнить с признательностию, что он покровительствовал молодым писателям в то время, когда покровительство было еще нужно. В Елагине сия благосклонность к отечественным дарованиям тем более достойна уважения, что смирение духа не было отличительною его приметою. Ему приписывают следующий отзыв: «Не знаю, чему дивятся в Вольтере: я не простил бы себе, если б усомнился сравниться с ним в чем бы то ни было». К сожалению, покровительство вышних не всегда бывает без примеси неудовольствий для лиц, взысканных покровительством. Елагин, благоприятствуя Фон-Визину, был отменно хорошо расположен и к Лукину. Будущий комик наш никак не мог ужиться с автором комедий, ныне неизвестных, но имевших некогда свою цветущую эпоху. Лукин был, видно, проворлив и старался задатком мстить при начальнике сопернику, еще неведомому, который после должен был выжить успехи его с другого поприща. Фон-Визин в *Исповеди* говорит довольно подробно и с чувством живейшего оскорбления о неудовольствиях, нанесенных ему Лукиным в доме Елагина. В письмах его отыскиваем и другие свидетельства сей неприязни. Лукин не был в миролюбивом сношении с совместниками, в которых видел он опасных соперников. По другим указаниям знаем мы, что он в споре был и с Сумароковым (*Записки Порошина*).

С просвещением Европейским переходили к нам и современные заблуждения, неизбежные для ума человеческого во всех его переломах. В движениях своих ум всегда каким-нибудь концом, но впадает в крайность; ему не дается равновесие. Каждая эпоха бытия человеческого ознаменована была одною господствующею мыслию, одним исключительным пристрастием,

которые общим влечением и частными препятствиями возрастали до исступления страсти: ибо страсть не что иное, как мысль, или чувство, превосмогающее все другие и все поглощающее. Эпохи религиозных вдохновений были омрачены суеверием и окровавлены жертвоприношениями фанатизма. Можно сказать, что эпоха, современная молодости Фон-Визина, носит на себе признаки противоположного фанатизма – фанатизма свободы мыслящей, неограниченных исследований, нетерпеливых покушений ума разрешать себя от уз тягостной опеки давности и вступить со дня на день в права и независимость совершеннолетия. С одной стороны, излишество собственной силы и самонадеянности, с другой – притязания противников, и здесь совращали ум с стези, равно отстоящей от крайностей. Запальчивое поколение, опираясь на права свои, пренебрегало верным, но медленным содействием времени и хотело удержать победу свою в возникшей тяжбе не порядком судебного производства, но силою и с боя. Мы видели, как русское общество, или, по крайней мере, верхние оконечности оно, были под влиянием французским. Вольнодумство в предметах религии должно было у нас иметь своих последователей и скорее, нежели политическое: ибо оно отвлеченнее другого и не требует ни размышлений, ни приготовленных событий, ни предварительных сведений. Может быть, у нас ума и особенно были способны к впечатлениям нового образа мыслей и к самым излишествам его. Рука могущего Петра должна была, для созидания нового устройства, потрясти и совершенно искоренить много старых предрассудков, преданий, поверий, привычек гражданственных и народных. Общество наше, пересаженное со старой почвы на новую, было сначала неминуемо зыбко и подвержено влияниям внешним. Великие переломы в жизни народа, хотя полезные и способствующие к полному развитию нравственных сил его, походят на переломы в жизни человека, сопровождающие переходение его из возраста в возраст, пока он не совершенно возмужает. Они род недугов, в которых организм не имеет надлежащих сил и согласия, и в которых тело более способно в принятию заразительных болезней, господствующих в атмосфере. Мы слышим и ныне от некоторых эмпириков политических и нравственных, что наш век есть век больной. Положим, но в таком случае понадеемся, что болезнь его есть болезнь к росту. Оставим Провидению развивать силы человеческого организма по предначертанным правилам, и не станем, подобно слепым врачам, часто противоречить природе и прикладывать, наобум или упрямо, свои искусственные пособия там, где она сама умеет врачевать недуги, которые допускает. Что сказали бы вы о враче, который, для облегчения страданий младенца, захотел бы вырвать прорезывающиеся у него зубы? Таким образом поветрие французского религиозного вольнодумства подействовало и у нас на людей, кои находились в упомянутом кризисе и по выдававшемуся вперед месту своему в обществе были ближе к давлению внешнему.

Молодой Фон-Визин, перенесенный из благочестивого дома родителей, от набожных упражнений в чтении молитв и священных книг, очутился вдруг посреди круга людей, которые образом мыслей своих были столетием впереди от тех, коих он оставил в Москве. И ныне Москва, в некотором отношении, все еще метрополия старины: при всех изменениях нового общежития, в ней еще устоял древний capitoлий русского быта. Сей capitoлий, так сказать, упразднен; можно сказать, и вовсе не эпиграмматически, что и священные стражи не спасли его от нашествия новых понятий и подоспевших поколений: но святыня, хотя и в упадке, все еще существует; она все еще доступна благоговейному чувству и в то время, когда уже утратила свое прежнее благолепие. Прежде различие между обеими столицами было еще разительнее. Любопытно видеть в *Исповеди* автора нашего, как он бывал смущаем резкостью мнений, свободно разглашаемых в беседах Петербургских; но вместе с тем, как он и сам поддавался общему потоку и принес дань ему *Посланием* к слугам своим. Жаль, что записки его прекращаются около этого времени. Сии Петербургские философические обеды у какого-то князя ***, подобие парижских обедов барона Гольбаха; этот Чеб..., другой Нежов, Дидеротовский приятель, который, встретясь с гвардейским унтер-офицером на гостином дворе, приветствует его

словом, которым сам Дидерот сказывают, в бытность свою в Петербурге, после жаркого обеда, приветствовал преосвященного Платона – все это кидает живые краски на эпоху и отцветивает общество наше самым любопытным образом. Вскоре, однако ж, молодой Фон-Визин, уже и до того, как видим из слов его, недовольный сомнениями, испуганный безнадежностью разглашаемого учения и тоскующий по взыскании истины более отрадней, нашел в Теплове вожака, который подкрепил испытываемые усилия его в обратил их к цели, обещающей в награду по крайней мере упование. Сей Теплов, начавший свое гражданское поприще учеными занятиями в звании адъюнкта при Императорской Академии Наук, был после сенатором и оставил по себе нравственные сочинения: *Знания вообще до философии касающиеся* и *Наставления сыну*. Он познакомил Фон-Визина с творением Самуила Кларка «Доказательства бытия Божия», которое сей последний и перевел. Сие упражнение было, кажется, перелом в образе мыслей его. Впрочем, если обратить внимание на раскаяние его в соблазне, который мог он нанести шутками, рассыпанными в *Послании к слугам* и в некоторых сценах *Бригадира*, то должно заметить, что и в позднейшем творении его: *Недоросль* роль Кутейкина могла бы также смутить православие несколько строгих читателей. Роль сия замечательна как вывеска эпохи: здесь вспомнишь определение Этьена, комика французского, «комедия – история народов». Ныне комический писатель не осмелился бы выставить подобное лицо на посмешище зрителей; а в то время Фон-Визин, даже и по обращении своем, нарисовал его шутливым пером и вывел на сцену, не боясь ни цензуры совести, ни совестливости цензуры. Другие комедии той же эпохи показывают подобное направление умов. В числе прочих замечательна в этом отношении комедия *О, время* особенно же, если вспомнишь кем она писана.

Между тем, как ни любопытны указания, ярко обозначающие общество тогдашнего времени и сохранившиеся для нас едва ли не в одних записках Фон-Визина, однако нельзя предаваться вовсе без оглядки излишним смирением, которое отзывается в поздней *Исповеди*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.